

ЗАМОК

ЛЕДИ МЭРИ



НАДЕЖДА СОКОЛОВА

Надежда Соколова

Замок леди Мэри

«Автор»

2026

Соколова Н. И.

Замок леди Мэри / Н. И. Соколова — «Автор», 2026

Я - попаданка, с Земли в магический мир. Мне нужно скрыться от жадных родственников, стремящихся прикарманить мое имущество. Что ж, другой мир отлично подойдет для таких целей. Осталось только обустроиться в старом замке, привести его в порядок и наладить быт. Ну и постараться отбиться от тех, кто стремится заполучить мои земли, взяв меня в жены.

© Соколова Н. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Надежда Соколова

Замок леди Мэри

Глава 1

Замок был старым. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, что построили его лет четыреста-пятьсот назад, если не раньше. Вокруг замка клубился тяжелый утренний туман, и каменные стены уходили в него так высоко, что казалось, будто крепость вырастает прямо из облаков. Серый гранит, из которого сложены стены, успел покрыться мшистыми разводами — словно прожилками времени: зелеными, бурными, почти черными у самой земли. Узкие бойницы напоминали прищуренные глаза, настороженно глядящие на долину.

Туман стелился низко, цепляясь за неровности почвы и оставляя на траве мелкие, холодные капли. Воздух был плотным и влажным, пахло прелой листвой, сырой землей и чем-то далеким, почти неуловимым — дымом из труб, которые давно не топили. Где-то в вышине, над башнями, ветер разгонял туманную дымку, и тогда на мгновение проступали очертания зубчатых стен, острых, как сломанные клыки. Солнце пыталось пробиться сквозь эту пелену, но его свет был рассеянным, бледно-золотым, он не грел, а лишь подсвечивал камень, делая его серо-зеленым, будто морская галька после отлива.

Я остановилась перед массивными воротами. Отсюда, снаружи, можно было рассмотреть каждую неровность кладки. Я протянула руку и коснулась ближайшего камня — того, что лежал вровень с косяком ворот. Холодный, шершавый, кое-где покрытый лишайником, похожим на засохшую кору. Под пальцами ощущалась вековая сырость, ввевшаяся в гранит насквозь. Камень был твердым и неподатливым, но в его поверхности чувствовалась какая-то глубинная, древняя пористость — будто он дышал, медленно впитывая и отдавая тепло дня и ночи. Я провела подушечками пальцев по выступающей грани, и они оставили на влажном мху едва заметные светлые полоски, которые тут же потемнели, впитывая влагу.

Где-то глубоко внутри, за этими стенами, пахло известкой, старым деревом и, наверное, плесенью. Я знала это. Но странное дело — меня не пугала эта затхлость. Напротив, я почти чувствовала, как за дверью воздух тяжел и неподвижен, как он годами лежал в пустых залах, оседая пылью на дубовых панелях и каменных полах. Где-то в глубине, на втором этаже, наверняка скрипела половица, которую некому было заменить, а в большом зале каминная решетка покрылась слоем сажи, которую никто не счищал. И все это — мое. Каждая трещина, каждый выщербленный дождями и ветрами камень.

Наоборот. Сердце билось ровно и спокойно. Только иногда, когда ветер проносился вдоль стены и завывал в узкой бойнице, в груди возникало легкое, теплое ощущение — как от прикосновения к знакомой вещи после долгой разлуки. Я чувствовала под ногами жесткую, еще не проснувшуюся землю, слышала, как где-то в стене тонко и жалобно посвистывает ветер, застревая в щелях между камнями. Этот свист был почти музыкальным — высоким, монотонным, он напоминал голос флейты, которую кто-то оставил открытой в темной комнате.

Два месяца до осени. Целых два месяца тепла и света. Я подняла лицо к солнцу, которое с трудом пробивалось сквозь туманную дымку, и прищурилась. Лучи падали на кожу слабо, почти невесомо, но я чувствовала, как они проходят сквозь утреннюю прохладу, оставляя на щеках едва заметное, мимолетное прикосновение. Этого времени должно хватить. Я успею проветрить комнаты, протопить камин, сменить трухлявые половицы там, где это необходимо. В голове уже возникал план: сперва большая спальня на солнечной стороне, потом зал для приемов, а к концу лета — кухня, где давно не горел очаг. У меня будут свои слуги, которые станут выполнять мои распоряжения, а не наоборот. Я больше ни перед кем не должна

кланяться. От этой мысли плечи расправились сами собой, и я глубоко вдохнула сырой, прохладный воздух, чувствуя, как он заполняет легкие, — чистый, без примеси чужих запахов.

Трава под ногами была мокрой, и подол дорожного платья отяжелел и потемнел у самой кромки. Я опустила взгляд — тонкая шерсть впитала влагу, и ткань облепила лодыжки холодом, от которого по коже побежали мурашки. Но я не обращала на это внимания. В груди росло тихое, уверенное тепло. Свое имущество. Свой угол. Наконец-то. Это было как долгожданное, глубокое дыхание после многих лет, когда приходилось вдыхать мелко, экономно, боясь лишним движением привлечь чужое внимание.

Я перевела взгляд на тяжелую дубовую дверь, окованную почерневшим железом. Ручка — холодное кольцо в пасти льва — казалась слишком высокой и слишком массивной для моей ладони. Я запрокинула голову, рассматривая барельеф: хищник смотрел прямо перед собой, его каменные глаза были прищурены, а пасть разомкнута ровно настолько, чтобы пропустить железное кольцо. Со временем металл покрылся темным, почти черным налетом, но на внутренней стороне кольца, куда редко касались руки, все еще просвечивала тусклая сталь. Я взялась за нее, ощутив, как мелко задрожали от напряжения пальцы. Кольцо было холодным, плотным, оно не подавалось, и мне пришлось слегка привстать на носки, чтобы ухватиться поудобнее.

Оставалось самое главное — попасть внутрь. И найти кого-нибудь из прислуги, кто втащит за мной тяжелые чемоданы, оставленные у подножия холма. Я мысленно представила их — два кожаных сундука, обитых медными уголками, они так и стояли на росистой траве у старой дороги, дожидаясь, пока я открою дверь и позову людей.

Пальцы сжали холодное железное кольцо. В тот же миг пасть льва под ладонью дрогнула — не больно, а словно потянулась навстречу, как живая. Я почувствовала, как по руке от запястья до локтя пробежало легкое, почти невесомое тепло — такое бывает, когдаходишь с мороза в натопленную комнату, только здесь тепло родилось не снаружи, а изнутри, из самой кости. Оно поднималось медленно, неспешно, словно струйка воды, которая нашла свое русло. Пальцы перестали дрожать — тепло разлилось по суставам, расслабляя их, и я поняла, что держу кольцо уже не с усилием, а естественно, будто моя рука всегда лежала здесь.

Глубоко внутри камня, в самой толще стены, родился низкий гул. Он был настолько глухим, что я ощутила его скорее подошвами сапог, чем ушами — мелкая вибрация прошла по подошвам, поднялась к щиколоткам и замерла где-то в коленях. Камень под моей ладонью чуть нагрелся, и сквозь шершавую поверхность я почувствовала, как гранит будто вздохнул — едва заметно расширился и снова вернулся к прежнему размеру. Это было похоже на то, как просыпается спящий зверь: медленно, с ленцой, но уже осознавая, что его коснулась знакомая рука.

Магия узнавания.

Кровь замка помнила кровь хозяев. Мой отец когда-то говорил, что древние камни не пускают чужих. А меня они впустили. Я ощутила, как от стены исходит едва различимый, землистый запах — сухой и теплый, как нагретая солнцем глина, хотя вокруг все еще стояла утренняя сырость. Этот запах шел не снаружи, а изнутри, откуда-то из самых недр кладки, и он был родным, узнаваемым — пахло детством, дровами, потрескивающими в камине, и старыми книгами на полках. Горло сжалось, но не от боли — от внезапной, острой узнаваемости: я не помнила этот замок, но он помнил меня.

Кольцо в моей руке дрогнуло еще раз, и за дверью послышался сухой, отчетливый щелчок — тяжелый засов сдвинулся с места. Гул в стене стих, оставляя вместо себя тишину, но не пустую, а наполненную новым звуком: где-то в глубине замка раздался слабый, протяжный скрип — словно открылась еще одна дверь, дальняя, которую никто не трогал многие годы.

Я опустила руку, и в ладони осталось отчетливое ощущение тепла — оно не уходило, а медленно остывало, точно камень отдавал мне часть своей памяти. Пальцы были сухими и розовыми, без следов влаги или лишайника. Я перевела дыхание — ровное, спокойное, только

в груди чуть потеплело, и эта теплота разлилась по животу, спустилась к бедрам, согревая тело изнутри. Я улыбнулась, сама того не замечая, — просто уголки губ дрогнули вверх, и на мгновение лицо стало мягче, моложе, почти беззаботным.

Замок открывался мне. Не как чужаку, которого терпят, а как своей — той, чьи шаги когда-то отдавались в этих коридорах. И я стояла перед приоткрытой дверью, вдыхая воздух, который шел теперь уже не только снаружи, но и изнутри — тяжелый, плотный, пахнущий пылью и сухими травами, и в этом запахе не было ничего чужого. Только то, что принадлежало мне по праву крови и времени.

Ворота дрогнули. Сначала едва заметно — я почувствовала это скорее ступнями, сквозь подошвы сапог: по булыжникам у моих ног пробежала мелкая дрожь, будто где-то глубоко под землей шевельнулся тяжелый пласт. Потом глухой скрежет разорвал утреннюю тишину — низкий, протяжный, похожий на стон старого дерева, которое долго не трогали. Металлические петли, покрытые толстым слоем ржавчины, закрипели вразнобой, и тяжелые створки медленно, словно нехотя, начали расходиться в стороны. Я видела, как от их движения по земле поползла тонкая темная полоса — это камень мостовой открывался навстречу воздуху, который долгие годы не проникал сюда с улицы.

Изнутри пахло сыростью и затхлым, сладковатым запахом старого дерева. Запах был плотным, почти осязаемым — он окутал лицо прохладной, влажной пеленой, и я ощутила на губах горьковатый привкус пыли и гнилой листвы. В этом воздухе не было движения, он лежал внутри двора толстым, неподвижным слоем, как вода в глубоком колодце. Но вместе с этим запахом из распахнувшихся ворот потянуло чем-то еще — едва уловимым, теплым, будто от далекого очага, который кто-то разжег много лет назад и с тех пор не гасил. Я невольно прикрыла глаза на миг — не от страха, а от внезапного облегчения. Все мышцы лица расслабились, веки отяжелели, и на мгновение я позволила себе просто стоять и дышать этим воздухом, смешанным из старого и нового, чужого и своего.

Вот и все. Я дома.

Когда ворота открылись достаточно широко, чтобы пропустить меня — створки разошлись почти на три локтя, обнажая темный проем, — я шагнула внутрь. Под ногами вместо травы оказался крупный булыжник, выщербленный колесами телег и копытами. Камень был неровным, с глубокими выбоинами и сколами, кое-где его края выступали над поверхностью, и я чувствовала их твердые очертания сквозь тонкую подошву сапог. Где-то под левой ступней камень чуть качнулся — видно, его давно не укрепляли, и он лежал на одном песке. Когда-то здесь кипела жизнь: я почти слышала отзвуки голосов, скрип колес, цокот копыт, — все это осталось в памяти камней, в их глубине, куда не доставал дождь.

Сейчас мостовую кое-где пробивала упрямая зелень. Из щелей между булыжниками тянулись тонкие, бледные стебли, слишком светлые от недостатка солнца — они пробивались к свету сквозь толщу пыли и щебня. А в лужах после недавнего дождя плавали сухие листья: темно-бурые, свернувшиеся трубочками, они медленно вращались на поверхности мутной воды, оставляя за собой тонкие маслянистые разводы. Я обошла одну такую лужу, и в воде мелькнуло мое отражение — расплывчатое, смазанное, с темным силуэтом ворот за спиной.

Я шла медленно, оглядываясь по сторонам. Внутренний двор оказался просторнее, чем я думала. Шаги гулко отдавались от стен — звук был глухим, коротким, он не летел далеко, а сразу гас, упираясь в каменные стены, покрытые мхом и известковым налетом. Слева виднелись низкие постройки — конюшни, наверное, или каретный сарай. Их крыши просели, деревянные ворота покосились, но сами стены казались крепкими, сложенными на совесть, из того же серого гранита, что и главная крепость. Над одной из построек торчала железная флюгарка в форме петуха, и она тихо, едва слышно поскрипывала на ветру — высоким, жалобным звуком, похожим на писк птенца.

Справа — колодец с покосившейся от времени крышей. Деревянные доски почернели от влаги, на их поверхности выступил седой мох, а железная цепь, свисавшая в глубину, была покрыта толстым слоем ржавчины, которая, казалось, пропитала даже воздух вокруг слабым металлическим привкусом. Крыша колодца была сломана с одной стороны: три стропила торчали вверх, как пальцы раскрытой ладони, а четвертое лежало рядом на земле, наполовину вросшее в мох и мелкую траву. Я остановилась на мгновение, глядя на это запустение, и в груди шевельнулось что-то среднее между печалью и решимостью: я исправлю это. Все исправлю.

А прямо передо мной, шагах в сорока, возвышалось главное здание — массивное, с узкими окнами и широким крыльцом из каменных ступеней, которые помнили не одно поколение. Ступени были вытерты: их края закруглились от бесчисленных ног, а в середине каждой виднелась едва заметная впадина — след тысячи шагов, сначала вверх, потом вниз. Серый камень местами отслаивался тонкими пластинами, как старая краска, и под ними проглядывал более светлый, молодой гранит. Перила крыльца были железными, с коваными завитками, но кое-где их узор был сломан — не хватало нескольких звеньев, и в этих разрывах темнели пустые отверстия, куда когда-то вставлялись прутья.

Платье цеплялось за ноги — мокрая ткань налипла на икры, мешая шагать, и каждый шаг давался с легким, тягучим сопротивлением. Тяжелые чемоданы остались снаружи, и на мгновение я почувствовала себя маленькой и неустроенной посреди этого огромного, чужого еще пространства. Ощущение было странным: я — одна фигурка в темном платье, стоящая на пустом дворе, а вокруг — десятки окон, пустых, слепых, глядящих на меня с высоты. Плечи чуть сжались, и я на мгновение сутуло втянула голову, будто ожидая оклика. Но тишина была полной, только ветер возился в щелях крыльца, посвистывая тонко и монотонно.

Но тепло в запястьях еще не остыло — оно держалось под кожей, как тлеющий уголек, и стоило мне опустить взгляд и посмотреть на свою руку, как я снова вспомнила: это мое. Каждый камень. Каждая выщербленная ступень, каждая покосившаяся дверь в конюшне, каждая щель между булыжниками, где пробивается упрямая трава. Тепло поднималось от запястья к локтю, слабое, но настойчивое, и с ним уходила неуверенность. Пальцы перестали подрагивать, плечи расправились, и я снова подняла голову — прямо, не пряча глаз от пустых окон.

Я подошла к крыльцу и остановилась, запрокинув голову, чтобы рассмотреть тяжелые дубовые двери. Они были старше ворот — их дерево потемнело до почти черного цвета, и в свете утреннего тумана оно казалось маслянистым, с зеленоватым отливом. Железные полосы, скреплявшие доски, покрылись бугристой ржавчиной, которая под пальцами, если дотронуться, наверняка осыпалась бы охристой пылью. Ручки на дверях были медными — отполированными до блеска в тех местах, где их касались руки, но на выступающих частях уже проступила зеленая патина, похожая на старую бронзу. Я уже хотела протянуть руку, чтобы толкнуть дверь, как вдруг услышала внутри — глухо, с приглушенным эхом — сухой щелчок. Засов. Кто-то сдвинул его изнутри.

И в этот момент они отворились сами. Двери поползли внутрь медленно, почти бесшумно — только легкое шипение раздалось оттого, что их нижний край чертил по каменному полу, счищая тонкий слой пыли и песка. От движения дверного полотна воздух вокруг меня колыхнулся, и из темного проема выплеснулся новый запах — сухой, травянистый, с нотами старого воска и чуть уловимой горечью дров, сожженных много лет назад. Я вдохнула его глубже, и в груди отозвалось что-то давнее: в детстве, в доме отца, так пахло в библиотеке, когда открывали тяжелые ставни после долгой зимы.

На пороге стоял мужчина. Немолодой, но и не старый — лет тридцати пяти, наверное, или чуть больше. Крепкий, широкий в плечах, с руками, которые привыкли к тяжелой работе: я видела, как на его предплечьях, обтянутых грубой тканью, четко проступают жилистые линии, а кисти, сложенные перед собой, крупные, с плоскими ногтями и темными узлами вен. Одет просто: темная шерстяная куртка с потертыми локтями, кожаные штаны, на ногах грубые

сапоги, запыленные до самого верха. Лицо спокойное, без подобострастия, но и без дерзости. Короткие темные волосы чуть тронуты сединой на висках — они были такими густыми и чистыми, что серебро проступало лишь редкими нитями. Синие глаза, прямой нос, высокий лоб, на котором от напряжения — или привычки — залегла тонкая вертикальная складка между бровей. Губы плотно сжаты, но не в усмешке и не в тревоге — просто в сосредоточенном спокойствии.

Мужчина посмотрел на меня внимательно, но без удивления, словно ждал. В его взгляде не было вопроса — только сдержанная готовность. Он окинул меня коротким взглядом, от лица до подола, и я не почувствовала в этом ни оценки, ни любопытства, только привычное, профессиональное внимание к каждой детали: запомнить, как выглядит та, кому он будет служить. Потом он поклонился — ровно настолько, чтобы обозначить почтение: голова опустилась на пару пальцев, плечи чуть согнулись, но спина осталась прямой, без униженного излома.

— Хозяйка, — сказал он негромко. Голос оказался низким, спокойным, с чуть хриловатым оттенком, будто он редко разговаривал вслух, привык больше молчать, чем говорить. — Я дворецкий. Замок ждал вас.

Слова упали в утреннюю тишину чисто и отчетливо, без лишней напыщенности. В них не было ни торжественности, ни льстивой сладости — только простая констатация факта, от которой по спине пробежал теплый ток. Замок ждал. Не слуги, не прислужники — а именно замок, как живое существо, которое знало о моем приходе.

Я выдохнула — тихо, почти неслышно. Воздух вышел из легких долгой, ровной струей, и вместе с ним ушла последняя капля напряжения, державшая мои плечи в мелкой дрожи. Я даже не заметила, что все это время стояла, чуть сжавшись, с застывшей спиной, — и только теперь позволила себе расслабиться. Пальцы разжались, и я опустила руки вдоль тела, чувствуя, как тяжесть от них уходит вниз, к земле. Нашла кого-то. Значит, не одна.

— Чемоданы, — сказала я, и в голосе проступила, наконец, усталость, которую я сдерживала все это время. Слова прозвучали тише, чем я хотела, с легкой хрипотцой в горле — там пересохло от утреннего ветра. Я отвела взгляд в сторону, к воротам, и кивнула в ту сторону, где внизу у подножия холма темнели два сундука. — У ворот. Я одна не втащу.

Моя рука поднялась и указала в сторону входа, и я увидела, как пальцы чуть дрогнули — не от страха, а от простой физической усталости, которая накатила теперь, когда я перестала с ней бороться. Пальцы казались чужими, слишком тонкими на фоне тяжелых камней и массивных дверей.

Он кивнул, не задавая лишних вопросов. В его молчании было что-то успокаивающее — ни суеты, ни тревоги, только размеренная уверенность. Он шагнул с крыльца, обходя меня по широкой дуге — почтительно, не задевая. Я почувствовала, как от него повеяло холодом — он стоял в проеме, где воздух был плотным и прохладным, и когда он проходил мимо, на меня дохнуло сыростью подвала. Сапоги его глухо ступали по каменным плитам двора — четкий, размеренный звук, который удалялся к воротам. Каблуки оставляли на влажном камне темные отпечатки, которые медленно светлели, впитывая утренний туман.

Я обернулась ему вслед и впервые за долгое время почувствовала удовлетворение от того, что кто-то другой возьмет тяжесть на себя. Это было странное, почти забытое чувство — когда не нужно напрягать спину, когда кто-то делает работу, а ты просто стоишь и ждешь. В груди разлилась мягкая, тягучая истома, и я позволила себе опереться о косяк двери плечом — камень был холодным и твердым, но я приняла эту прохладу как что-то привычное, родное. Я смотрела, как широкоплечая фигура пересекает двор, приближается к распахнутым воротам, скрывается за ними в белесом тумане. И в тишине, оставшейся после его ухода, я услышала, как ветер играет в дверном проеме — то ли плачет, то ли поет что-то давно забытое. И я улыбнулась — впервые по-настоящему, до того, как щеки дрогнули и потеплели.

Порог оказался высоким — почти до середины голени, сложенный из двух массивных каменных плит, края которых были сглажены временем до маслянистой гладкости. Пришлось на миг задрать подол обеими руками, чувствуя, как тяжелая влажная ткань срывается с камня и повисает в воздухе, обнажая щиколотки. Ступня нашла выступ, и я перенесла вес тела вперед, ощутив, как сапог скользнул по чуть влажной от утренней сырости поверхности. И как только я шагнула внутрь — переступила черту, разделяющую двор и дом, — воздух переменился.

Перемена была резкой, почти осязаемой: тепло летнего утра, которое еще минуту назад ласкало щеки и плечи, осталось снаружи, отсеченное толщиной каменных стен, как ножом. А здесь меня встретила прохлада — плотная, неподвижная, она обволокла лицо, шею, руки, пробираясь под воротник платья и заставляя кожу покрываться мелкими, частыми мурашками, которые побежали от затылка вниз по позвоночнику. Я вздрогнула, но не от страха — просто тело реагировало на перепад тепла, и я почувствовала, как волоски на руках встали дыбом, а кончики пальцев стали чуть более чувствительными к каждому дуновению неподвижного воздуха.

Сначала глаза не различали ничего, кроме темноты. В лицо ударил густой, почти черный сумрак, в котором не было ни теней, ни просветов — только плотное, ровное отсутствие света. Я остановилась, давая зрачкам привыкнуть, и замерла неподвижно, даже дышать стараясь реже, чтобы не мешать глазам настраиваться. Прошло несколько долгих мгновений, и я начала различать смутные очертания — темные массы стен, чуть более светлые прямоугольники бойниц высоко под потолком, неровные линии пола под ногами. В этот момент нос уловил запахи, которые были не просто смесью — они лежали слоями, каждый со своей глубиной и плотностью.

Самый верхний, самый свежий — сырая известь, которой когда-то белили стены: она пахла остро, чуть сладковато, с горьковатым оттенком, словно рассыпанный мел. Под ней, толще и старше, тянулась древесина — запах старого дуба, который долгие годы впитывал влагу и теперь отдавал ее воздуху терпким, кисловатым дыханием. Глубже всего, въевшийся в стены, в каждую пору камня, висел запах печного дыма — не свежего, а застарелого, осевшего слоями сажи и золы, которые пропитали штукатурку и даже гранит, так что никакое проветривание не смогло бы его вытравить. Я вдохнула этот коктейль глубже, и он осел на языке легкой горечью, как привкус старого чая, заваренного много раз.

Слышно было, как где-то в вышине, под потолком, тонко и размеренно капает вода — капли падали с интервалом в две-три секунды, каждая со звонким, чистым звуком, который разбивался о камень и эхом уходил в темноту. Я подняла голову, пытаюсь разглядеть источник, но там, наверху, была только чернота, и капли рождались из ниоткуда, как будто сам потолок плакал.

За спиной тяжело и размеренно застучали сапоги дворецкого — шаги были твердыми, уверенными, каблуки выбивали четкий ритм по каменным плитам. Я обернулась: он вошел следом, сгибаясь под тяжестью двух моих чемоданов, но не показывая ни малейшего усилия на лице. Его спина чуть прогнулась, плечи подались вперед, но походка оставалась ровной, без запинки. Кожаные лямки, на которые были навешены сундуки, врезались в плечи его куртки, оставляя на темной шерсти светлые полосы от натяжения, но он шагал, не сбивая дыхания, только широкие ноздри чуть раздувались, впуская больше воздуха.

— Сюда, хозяйка, — негромко сказал он, кивая вглубь помещения.

Голос прозвучал глухо, словно его приглушали каменные стены, и я услышала, как он отозвался коротким эхом где-то вдали, на другой стороне холла.

Я повернулась обратно. Глаза привыкли, и теперь я могла разглядеть холл во всей его суровой полноте. Он оказался огромным — гораздо больше, чем казалось снаружи, когда я смотрела на фасад с крыльца. Пространство уходило вглубь и вверх, и я почувствовала себя крошечной точкой посреди этой каменной коробки. Высокий сводчатый потолок терялся в

сумраке, и лишь кое-где с узких бойниц пробивались бледные полосы света — они падали наклонными столбами, в которых медленно, вязко кружились тысячи пылинок. Пыль была везде — она лежала на поверхностях, висела в воздухе, оседала на моем платье, и я чувствовала ее легкое, чуть щекочущее прикосновение к лицу, к векам.

Стены из грубого камня были когда-то побелены, но теперь известка облупилась крупными хлопьями — они висели на поверхности, как старая, отслаивающаяся кожа, и под ними проглядывали серые, покрытые влажными разводами плиты. Влажность проступала темными пятнами неправильной формы — они напоминали карты неведомых земель, и я видела, как по одной из стен стекает тонкая, блестящая дорожка воды, оставляя после себя мокрый, блестящий след. Пол — каменные плиты, выщербленные, кое-где треснувшие, местами прикрытые истлевшими циновками из тростника, которые давно пора было выбросить. От циновок пахло гнилью и сырým волокном, и под ногой одна из них противно хрустнула, рассыпаясь в труху.

В углу стоял массивный дубовый стол, покрытый толстым слоем пыли — пыль лежала ровно, без следов прикосновений, и на ней четко отпечатывались следы моих шагов, когда я чуть сдвинулась в сторону. Над ним на стене висело что-то, отдаленно напоминающее гобелен — выцветшее настолько, что невозможно было разобрать изображенный узор: только смутные, темные линии, которые когда-то были красными и золотыми, а теперь слились в одно серо-бурое пятно, похожее на старую плесень. Камин, огромный, в полстены, зиял черной пустотой — его жерло было глубоким и темным, словно вход в пещеру, и оттуда тянуло холодом, сухим и ледяным, как из погребка. Я сделала шаг ближе и увидела, что на дне камина лежит слой серого пепла, смешанного с сажей и мелкими угольками, — его не трогали много лет.

Сыро́сть чувствовалась кожей. Она была повсюду — оседала на волосах мелкими, невидимыми каплями, отчего пряди становились тяжелее и начинали прилипать к вискам и шее. Платье, еще не просохшее после утренней росы, впитывало эту влагу из воздуха, и ткань с каждой секундой становилась все более плотной, все тяжелее облегалa бедра и плечи. Я провела ладонью по предплечью — кожа была влажной и прохладной, с едва заметной липкостью, и я поежилась, но не позволила себе сжаться. Вместо этого я выпрямила спину и глубоко вдохнула, впуская этот холодный, влажный воздух в легкие, чтобы привыкнуть к нему, чтобы он перестал быть чужим.

В конце холла, возле лестницы, ведущей наверх, я заметила движение. Несколько фигур, сгрудившихся в полумраке. Они стояли близко друг к другу, плечом к плечу, и их одежда сливалась в одно темное пятно, из которого едва проступали лица — бледные пятна в сумраке. Они ждали. Я видела, как одна из фигур переступила с ноги на ногу, и сухой шорох ее шагов разнесся по холлу.

Одна из них сделала шаг вперед — женщина в простом сером платье и белом переднике, повязанном поперек. Ткань ее платья была тонкой, многократно штопаной у локтей и ворота, но чистой и аккуратной. Передник был свежим, с отчетливыми складками от утюга, и на нем не было ни пятнышка. Лицо ее было добрым, но уставшим — с мелкими морщинками у глаз и губ, которые расходились веером, когда она слегка улыбалась. Эти морщинки были глубокими, вьевшимися, как следы от множества бессонных ночей и долгих дней. Глаза ее — карие, теплые — смотрели на меня с мягкой, немного тревожной надеждой. Лет сорока, наверное, или чуть старше: седые пряди уже начинали пробиваться у висков, но были заправлены под платок, чтобы не бросаться в глаза.

За ней стояла вторая — пониже ростом, плотнее, с руками, спрятанными под передник, и внимательным взглядом из-под темного платка, который был завязан туго, под самый подбородок. У нее было широкое, скуластое лицо, и она постоянно переводила взгляд с меня на дворецкого, будто проверяя, правильно ли она поняла его знаки. Тоже немолодая, но еще крепкая: я видела, как под передником угадываются сильные плечи, как пальцы, чуть выглядывающие из-под ткани, — толстые, в мелких трещинках, с желтыми мозолями на ладонях.

Рядом с ними — третья женщина, шире в плечах и тяжелее, с засученными рукавами и красноватыми от пара ладонями, которые она держала на виду, не пряча. Ее руки были крупными, с отчетливыми венами, и от них, даже на расстоянии нескольких шагов, исходил теплый, пряный запах кухни — теста, лука, топленого масла. Кухарка — это было видно сразу. Ее лицо, круглое и розовое даже в этом холодном сумраке, выражало настороженное любопытство: она чуть наклонила голову вбок, рассматривая меня с прищуром, словно оценивая, сколько я смогу съесть и стоит ли ради этого затевать тяжелую стряпню. На ее платье, темно-синем, в мелких белых пятнах от муки, я заметила свежие следы — видно, она успела замесить тесто еще до моего приезда.

А чуть поодаль, держась ближе к стене, стоял мужчина в грубой холщовой рубахе и потертых штанах, перетянутых веревкой вместо ремня. Конюх — это угадывалось сразу: по заскорузлым сапогам, покрытым слоем засохшей грязи и соломы, по запаху лошадиного пота и сена, который доносился от него даже на расстоянии, смешиваясь с сыростью воздуха. Его лицо, обветренное и скуластое, казалось вырезанным из дерева — глубокие морщины прорезали щеки и лоб, а губы были тонкими, плотно сжатыми, без улыбки. Но глаза смотрели живо и уважительно, ясные, серо-голубые, они следили за каждым моим движением из-под нависших бровей. Он стоял неподвижно, только пальцы его рук, крупные и мозолистые, чуть шевелились, перебирая край рубахи, — нервный жест, который он, видимо, не замечал.

Дворецкий поставил чемоданы у входа — сундуки гулко стукнули деревянными ручками о камень, и этот звук прокатился по холлу, ударился о стены и затих где-то в глубине, в коридоре. Он выпрямился, перевел дыхание — одно глубокое, ровное движение груди, и повернулся к прислуге.

— Вот, — сказал он, обращаясь к ним, и голос его был ровным, без торжественности, но с той спокойной уверенностью, которая заставляла слушать. — Наша хозяйка.

Женщина в сером платье — та, что стояла впереди — низко поклонилась. Я видела, как ее спина согнулась, как передник натянулся на груди, как платок чуть сполз на затылок. За ней склонились и остальные — не так слаженно, с легкой заминкой: вторая женщина наклонилась ниже, почти до пояса, кухарка просто чуть согнула колени и кивнула, а конюх, помедлив мгновение, опустил голову, но не согнул спину — жест уважения, но без унижения.

— Добро пожаловать, госпожа, — тихо проговорила женщина в сером. Голос ее чуть дрожал — то ли от волнения, то ли от холода, и я услышала, как в конце фразы он дрогнул на высокой ноте, почти сорвался на шепот. Она быстро сглотнула и подняла глаза, встречаясь со мной взглядом, — в них была робкая, но искренняя надежда.

Я жала пальцы в кулаки, чтобы они не дрожали. Ногти впились в ладони через ткань перчаток, и я ощутила это давление — оно было реальным, твердым, оно помогало держать равновесие. Четыре пары глаз смотрели на меня — кто с надеждой, кто с опаской, кто просто с любопытством, но все они ждали моего слова. Я была здесь главной. И от этого кружилась голова: легкое, почти невесомое головокружение поднялось откуда-то из груди, коснулось висков, заставило на миг потемнеть в глазах. Но я заставила себя выпрямиться, расправить плечи, втянуть воздух в легкие и кивнуть в ответ — медленно, спокойно, с той твердостью, которую я чувствовала внутри, как тот теплый уголек в запястье.

— Спасибо, — сказала я негромко. Голос прозвучал ровно, чуть ниже, чем обычно, и я сама удивилась его уверенности. — Покажите мне комнаты.

Слова упали в тишину, и я услышала, как они отразились от высокого потолка, разлетелись в стороны и погасли где-то в темных углах. Дворецкий сделал знак — короткое движение головой, и женщины расступились, открывая путь к лестнице. Их тела разошлись в стороны, как занавес, и я увидела ступени — широкие, каменные, с вытертыми краями и темной полосой посередине, где тысячи ног протоптали дорожку. Перила были железными, покрытыми

ржавчиной и пылью, и на них висела старая, серая паутина, в которой запутались сухие крылья мотылька.

Глава 2

Дворецкий шагнул вперед, и я услышала, как его сапоги глухо стукнули о каменный пол у самой стены. Он протянул руку к медной площадке, висевшей на кованом крюке, — широкую, почти плоскую чашу, почерневшую от копоти и времени. Внутри нее тлел уголек, маленький, красный глаз, который едва заметно пульсировал в полумраке. Дворецкий взял с пояса трутницу, высек искру, и огонь — сначала робкий, синий язычок — лизнул промасленную паклю на конце длинного факела. Смола затрещала, зашипела, и через мгновение пламя разгорелось ровным, теплым оранжевым светом, разбрасывая по холлу пляшущие, живые тени. Они побежали по стенам — длинные, изломанные, они качались и переливались, оживляя грубый камень, делая его то темным, то золотистым. Запахло горячей смолой и чуть горьковатым дымом — резким, но не неприятным, он смешался с сыростью и стал теплее.

Стало светлее — насколько это вообще возможно в старых каменных стенах, которые впитывают каждый луч и прячут его в своих порах. Теперь я видела, как факел отбрасывает круг света, внутри которого все предметы обретали четкость, а за его пределами сумрак становился еще гуще, еще чернее. Тени от моей фигуры вытягивались и уходили вдаль, теряясь в глубине холла. Я стояла в этом круге, и пламя чуть покачивалось от моего дыхания, заставляя лицо дворецкого то освещаться, то снова уходить в полумрак.

— Покажите мне все, — сказала я, глядя на него. Голос мой прозвучал твердо, хотя я чувствовала, как в груди все еще трепетал тот тихий восторг от ощущения дома. Я сжала пальцы в ладонях, ощущая, как тепло от факела касается щеки, и добавила: — Я должна знать, где и что.

Он кивнул — коротко, без лишних слов, и двинулся первым, указывая дорогу. Факел в его руке поднимался и опускался в такт шагам, отбрасывая на стены круги света, которые то расширялись, то сужались. Я пошла за ним, стараясь ступать в центр освещенного пятна, чтобы не оступиться в темноте.

Мы начали с левой стороны холла. Дворецкий отворил низкую дубовую дверь, и она подалась с протяжным, жалобным скрипом — петли давно не знали масла. Передо мной открылась крутая лестница, уходящая вниз, в черную, дышащую прохладой глубину. Ступени были каменными, стертymi до блеска множеством ног — их поверхность блестела в свете факела, как гладкий лед, а края были закруглены, словно их поливали водой много лет подряд. Я ступила на первую ступень, и подошва сапога чуть скользнула по гладкому камню — пришлось ухватиться за стену рукой, чувствуя, как холодный гранит отдает сырость через перчатку. Воздух потянул сырой землей и чем-то кислым, едким — запах гнилой листвы и старого корневища, который оседал на языке терпкой горечью.

— Погребка, хозяйка, — сказал он, спускаясь первым и держа факел высоко, чтобы я видела, куда ступать. Огонь освещал его спину, и тень от его широких плеч падала на ступени впереди, отмечая каждую неровность, каждую выбоину в камне.

Внизу оказалось просторно. Низкие сводчатые потолки нависали почти над головой — я чувствовала их близость кожей, как тяжелый каменный навес, который давил на затылок и плечи. Пространство уходило вглубь, разделяясь на три широких проема, и факельный свет не достигал дальних углов, оставляя их в густом мраке. Вдоль стен тянулись дубовые стеллажи — массивные, грубо сколоченные, их доски потемнели от влаги до почти черного цвета, и на них слоями лежала серая, пушистая паутина, которая колыхалась от малейшего движения воздуха. Кое-где на полу темнели лужицы: сквозь стены сочилась грунтовая вода, просачиваясь между плит, и собиралась в неглубокие, маслянистые зеркала, в которых отражался огонь факела дрожащими красными бликами. Я насчитала три больших помещения: одно для вина и припасов — его стены были уставлены пустыми полками, на которых еще виднелись темные

круги от дна кувшинов; второе, поменьше, для овощей, с низкими деревянными закромами, внутри которых лежали лишь сухие листья и труха; третье — пустое, с ржавыми железными кольцами в стенах на высоте пояса — когда-то здесь держали лед. В этом помещении воздух был особенно холодным, и я чувствовала, как он проникает сквозь платье, оставляя на коже липкую, неприятную свежесть. Пахло плесенью и вековой сыростью — этот запах был густым, тяжелым, он оседал в ноздрях и не выветривался даже на вдохе. Я поежилась, и мурашки снова побежали по спине, но я только плотнее сжала губы и промолчала, не желая показывать, что мне неуютно.

Поднявшись обратно по скользким ступеням — теперь уже вверх, опираясь рукой о стену, чтобы не поскользнуться на влажном камне, — мы прошли в противоположное крыло. Переход был коротким, но воздух изменился почти сразу: сырость отступила, уступив место сухому, чуть прогретому дыханию. Здесь было теплее — где-то рядом топилась печь, и я чувствовала, как тепло просачивается сквозь камни, согревая их изнутри. Стены здесь были сухими, без влажных разводов, и даже паутина на потолке казалась более легкой, почти прозрачной. Дворецкий открыл еще одну дверь — низкую, тяжелую, обитую железными полосами, — и меня ударило густым, пряным запахом лука, чеснока и сушеных трав. Запах был настолько насыщенным, что я на мгновение прикрыла глаза: в нем смешивались терпкая горечь сушеного чеснока, сладковатая острота лука и мягкие, травянистые ноты тимьяна и розмарина. Он напоминал о доме, о кухне, где всегда кипела жизнь.

Кухня оказалась огромной. Очаг занимал половину дальней стены — черный от копоти, с глубоким, широким жерлом, внутри которого еще тлели угли, отбрасывая на стены багровый отблеск. Над очагом на тяжелой железной цепи висел большой котел, его бока были покрыты слоем сажи, а внутри, судя по слабому пару, что поднимался над краем, уже нагревалась вода. Длинный разделочный стол из многократно скобленого дерева стоял посередине — его поверхность была гладкой, выбеленной временем и ножами до светлого, почти золотистого оттенка, и на ней лежала горка очищенного лука, белого и сочного. Вдоль стен — полки с глиняной посудой: горшки, миски, кувшины, все разных размеров, от крошечных до огромных, в которые можно было бы налить целое ведро. Среди них висели жестяные миски, поблескивающие тусклым металлом, и медные ковши с длинными ручками, на поверхности которых проступала зеленая патина. Под потолком, привязанные к балкам, висели пучки засохших растений — мята, полынь, душица, их сухие листья шелестели от малейшего сквозняка, рассыпая тонкий, горьковатый аромат.

Кухарка, та самая, что встречала меня в холле, уже хлопотала у очага, раздувая огонь мехами — я услышала их тяжелый, ритмичный вздох. Она стояла на коленях перед топкой, и отсвет пламени освещал ее круглое лицо, делая его еще более розовым, почти румяным. На ее переднике появились новые пятна муки, а руки были заняты длинной кочергой, которой она ворошила угли. Увидев меня, она выпрямилась — я заметила, как с трудом она разогнула колени, — и поклонилась, чуть запыхавшись от работы.

— Здесь буду готовить для вас, госпожа, — сказала она негромко, и в голосе ее слышалась гордость за свой очаг.

Я кивнула, огляделась. Свет сюда почти не проникал — только из двух крошечных окон под самым потолком, затянутых паутиной и пылью, через которые пробивались лишь слабые, рассеянные полоски. Но было по-своему уютно: тепло от очага окутывало плечи, и я чувствовала, как с пальцев уходит утренний холод. Пахло едой, дымом, и где-то рядом, в глубине, слышалось тихое шипение жира на сковороде. Я задержалась на мгновение, вдыхая этот запах, и почувствовала, как в животе отозвался слабый голод — первый за весь долгий путь.

Рядом с кухней обнаружили комнаты для прислуги — три маленькие клетушки с деревянными койками, на которых лежали грубые шерстяные одеяла, серые и потертые, и подушки, набитые соломой, с засаленными наволочками, которые давно не меняли. Комнаты были тес-

ными — я едва могла развести руки в стороны, не касаясь стен, — и темными, без окон, только маленькие свечные ниши в стенах, в которых лежали огарки. Воздух здесь был спертым, сухим, пахло потом и старой шерстью. Но полы были деревянными, чисто выметенными, и стены казались сухими, без следов плесени. Здесь жили те, кто работал. Я окинула взглядом узкие койки, сбитые одеяла и почувствовала короткий, острый укол совести: они заслуживали свежих постелей, чистых простыней, теплых одеял. Но я сразу отодвинула эту мысль — позже, когда я обустроюсь, я займусь и этим. Сейчас я только осматривалась.

Обеденный зал оказался по ту сторону холла. Дворецкий распахнул высокие двустворчатые двери — они пошли внутрь плавно, почти бесшумно, с легким скрипом, который затих в глубине комнаты. И я замерла на пороге.

Просторно. Очень просторно. Комната уходила вдаль, и ее длина казалась бесконечной в полумраке. Длинный дубовый стол на двадцать персон тянулся вдоль всей комнаты — его поверхность, массивная и темная, блестела от времени, и я видела на ней глубокие царапины, оставленные ножами и кубками, которые пили здесь сотню лет назад. Вдоль стен стояли тяжелые стулья с высокими спинками, обитые выцветшим бархатом, который когда-то был красным или бордовым, а теперь стал серо-розовым, с вытертыми локтями и сиденьями. Камин здесь был меньше, чем в холле, но тоже внушительный — его каменная облицовка была украшена резными колоннами и гербом, который я не смогла разобрать из-за толстого слоя сажи. На стенах висели темные картины в массивных рамах — я не разглядела сюжетов: слишком много пыли и копоти осело на холстах, превратив их в однородные, мрачные пятна, из которых едва проступали смутные очертания лиц и пейзажей. Паутина висела серебряными лохмотьями под потолком, длинными, дрожащими нитями, на которых кое-где еще держались сухие тела мух. Но я уже представляла, как здесь будет гореть свет — свечи в тяжелых канделябрах, огонь в камине, который осветит эти картины и заставит их ожить. Стены, казавшиеся сейчас давящими, станут теплыми и уютными, и зал наполнится звуками голосов и смеха. Я вдохнула сухой, пыльный воздух и почувствовала, как в груди разливается предвкушение.

За обеденным залом следовали две гостиных — поменьше, но не менее внушительные. Первая, парадная, предназначалась для важных гостей. Там стояли мягкие кресла с высокими спинками, их обивка, когда-то зеленая, выцвела до бледно-оливкового оттенка, и на ней проступали потертости от множества локтей. Низкий столик на резных ножках, покрытый сетью тонких трещин, стоял посередине, а на стенах висели гобелены с охотничьими сценами — я подошла ближе и увидела выцветшие фигуры всадников, собак и оленей, которые сливались в общий серо-бежевый фон. Гобелены были древними, но ткань, как я заметила, все еще была крепка, и узор можно было бы восстановить, если бы кто-то взялся за иглу.

Вторая гостиная была поменьше, уютнее — с круглым столом посередине, покрытым темной скатертью, на которой когда-то, наверное, лежали карты или игральные кости. Вдоль стен стояли низкие книжные шкафы, пустые сейчас, с открытыми дверцами, и на их полках лежали лишь тонкие слои пыли. Полки для игр и безделушек были пусты, и это выглядело печально — я представила, как на них могли бы стоять шкатулки, статуэтки, стеклянные шары, но сейчас там было лишь пустое, сиротливое пространство.

Я подошла к одному из кресел, стоявшему у круглого стола, и коснулась рукой его спинки. Дерево оказалось гладким от времени — я провела пальцами по его поверхности, и они скользнули легко, не встречая ни заноз, ни шероховатостей. Оно было теплым, словно впитало в себя тепло тысяч прошедших здесь людей, и это тепло передалось моим пальцам, разлилось по запястью легкой, уютной волной. Я задержала ладонь на этой гладкой поверхности, чувствуя, как дерево дышит под рукой, как оно хранит память о тех, кто сидел в этих креслах, смеялся, вел беседы. Мне показалось, что в этом тепле есть что-то обещающее, что оно ждет меня — не как чужого, а как свою, ту, которая сядет здесь и вернет этому месту жизнь.

— Здесь хорошо, — сказала я тихо, и голос мой прозвучал мягко, почти задумчиво. Слова повисли в воздухе, и я не услышала в них ни сомнения, ни тревоги — только ровную, теплую уверенность.

Дворецкий не ответил, только ждал, стоя у входа с факелом в руке. Его молчание было спокойным и терпеливым, и я знала, что могу осматриваться столько, сколько захочу. Я обернулась, взглянула на пыльные гобелены, на пустые шкафы, на темные окна, за которыми уже почти не было света, и почувствовала, как внутри меня, где-то глубоко, распускается медленное, тихое счастье. Это было мое. Все это — мое.

Лестница на второй этаж оказалась широкой — настолько, что двое могли бы подниматься рядом, не задевая друг друга плечами. Ступени были каменными, и в их поверхности, стертой посередине вогнутыми дугами, я читала историю: сотни лет ног, поднимавшихся и спускавшихся по этим плитам, оставили свой след. Посередине каждой ступени образовалась глубокая, плавная ложбина, в которой мог бы поместиться мой кулак, а края остались почти нетронутыми, шершавыми и темными от вековой пыли. Я ступила на первую ступень и почувствовала, как подошва сапога нашла ту самую вытертую середину — нога легла в нее естественно, будто ступень ждала именно моего шага. Дворецкий шел впереди, и факел в его руке освещал каждый мой шаг, выхватывая из темноты то одну, то другую каменную плиту, покрытую мелкими трещинами, похожими на паутину. Я держалась за перила — холодный, кованый прут, гладкий от множества прикосновений. Металл леденил ладонь даже через перчатку, и я чувствовала, как этот холод поднимается от пальцев к запястью, смешиваясь с теплом, которое все еще жило в моей руке от прикосновения к воротам. Прут был кованым, с витыми узорами, которые я различала на ощупь, — завитки, переплетения, местами сломанные или утраченные, но все еще узнаваемые. Под пальцами я ощущала каждую неровность, каждый выступ, оставленный кузнецом много веков назад.

Коридор второго этажа тянулся вдоль всего здания — длинный, прямой, с невысоким сводчатым потолком, который давил на плечи своей близостью. Свет факела едва достигал дальнего конца, и там, в глубине, все тонуло в густом, непроницаемом мраке. Пол здесь был деревянным — широкие, потемневшие доски скрипели под ногами, и каждый мой шаг отзывался протяжным, жалобным звуком, который разбегался по коридору и гас где-то вдали. По обе стороны тянулись двери — тяжелые, дубовые, с железными ручками в форме колец. Их было много, и они стояли ровными рядами, как солдаты в строю, молчаливые и терпеливые. Дворецкий открывал их одну за другой — и каждая отзывалась одинаковым протяжным скрипом, будто их петли давно не видели масла.

Гостевые спальни. Их было пять. Я заглядывала в каждую, останавливаясь на пороге, чтобы дать глазам привыкнуть к новому полумраку. Комнаты были похожи друг на друга, как сестры: узкое окно-бойница, прорубленное в толще стены, сквозь которое пробивался бледный, рассеянный свет, делающий пыль в воздухе золотистой и почти осязаемой. Тяжелая кровать под балдахином — деревянные столбы, темные от времени, с выцветшими занавесками, которые когда-то были зелеными или синими, а теперь напоминали старую паутину: их ткань истончилась до полупрозрачности, и сквозь нее просвечивали голые прутья каркаса. Тюфяки на кроватях казались плоскими и жесткими — солома в них давно слежалась, превратившись в твердую, неудобную массу, и кое-где из разошедшихся швов торчали сухие, ломкие стебли. В каждой комнате стоял умывальный столик с треснувшим кувшином и тазом, покрытым зеленоватым налетом времени — медь окислилась, и на ее поверхности проступили причудливые узоры из темно-зеленых и синих пятен. Воздух в спальнях был спертым, сухим, с привкусом старого дерева и осевшей пыли — здесь давно никто не спал, и это чувствовалось в каждой поре стен, в каждой складке выцветших занавесок. Я провела пальцем по подоконнику, и на коже осталась тонкая, серая полоса пыли — мягкая, бархатистая на ощупь.

— Нужно проветрить, — сказала я, морщась от запаха застоявшегося дерева. Голос мой прозвучал глухо в этой сухой тишине, и я услышала, как он отразился от стен и растворился где-то в дальних комнатах.

— Сделаем, хозяйка, — ответил дворецкий. Его голос был ровным, без тени удивления, будто он уже знал каждое мое желание прежде, чем я его произносила.

В конце коридора — хозяйские комнаты. Их оказалось три: спальня для главы дома, гардеробная и малая гостиная для семьи. Дворецкий остановился перед последней дверью, и я заметила, что она была шире других, выше, с более искусной резьбой на филенках — переплетающиеся ветви, листья и цветы, которые еще угадывались под слоем пыли и копоти. Он отворил ее, и я шагнула внутрь, чувствуя, как воздух здесь был иным — более свежим, более живым.

Спальня была самой светлой комнатой из всех, что я видела. Три окна, пусть и узких, как бойницы, выходили на юг, и сейчас в них пробивался солнечный свет — настоящий, теплый, золотой, который разгонял мрак и делал стены светло-серыми, почти белыми. Лучи падали на пол длинными, косыми прямоугольниками, и я видела, как в них кружатся пылинки — медленно, лениво, будто танцуя какой-то древний, бесконечный танец. Воздух здесь был теплее, суше, и пахло не плесенью, а нагретым камнем и старой древесиной, которая хранила в себе солнце. Я подошла к окну и выглянула наружу — оттуда открывался вид на холмы, на долину, на дорогу, по которой я пришла, — и на мгновение мне показалось, что я вижу себя, идущую по той дороге несколько часов назад, маленькую фигурку в темном платье, которая теперь стояла здесь, наверху.

Кровать здесь стояла огромная, резная, из темного дуба, с балдахином, на котором еще угадывались остатки вышивки. Я подошла ближе и увидела золотые нити — они тускло поблескивали в свете, пробивающемся из окон, и их узор был сложным, витиеватым: переплетающиеся линии, цветы и птицы, которые когда-то были яркими, а теперь стали почти невидимыми, вплетенными в истлевшую ткань. Четыре столба кровати были украшены резьбой, и я провела рукой по одному из них — под пальцами было шершавое, но живое дерево, теплое от солнечного света, который касался его с утра. Я ощутила, как резьба повторяет форму ствола: переплетения коры, листья, маленькие бутоны, скрытые в тени углублений. Одежда давно истлела — на матрасе остались лишь серые лохмотья, которые рассыпались в труху от малейшего прикосновения, — но сама кровать была крепкой, и ее каркас не скрипнул, когда я оперлась на него рукой. Я подумала о том, сколько людей спали на этой кровати, сколько снов видели под этим балдахином, — и мне стало тепло и немного грустно одновременно.

На стене висело зеркало — мутное, в пятнах, но целое. Я подошла к нему, и мое отражение возникло из тусклого серебра: бледное лицо, усталые глаза, с темными кругами под ними, растрепавшиеся в дороге волосы, которые выбились из-под платка и падали на плечи тонкими, спутанными прядями. Воротник платья был сбит набок, и на шее виднелась тонкая красная полоска от грубой ткани. На миг мне стало грустно — я выглядела чужой, потерянной, не той, кем хотела бы быть в этом доме. Но я отогнала это чувство, сжав пальцы в кулак. Приведу себя в порядок. Скоро. Когда закончу осмотр, когда все увижу и все решу, я найду время для себя.

Гардеробная оказалась пустой и пыльной. Только деревянные вешалки вдоль стен — простые, грубо вырезанные, на них еще висели несколько пустых деревянных плечиков, покрытых тонким слоем серой пыли. Да сундуки вдоль стен — три тяжелых, оббитых железом, с почерневшими замками. Я заглянула в один, приподняв тяжелую крышку — внутри было пусто, только на дне лежал истлевший лоскут ткани, от которого остались лишь несколько темных нитей, вплетенных в древесную труху. Запах старого дерева и сухих трав — наверное, когда-то здесь хранили лаванду, чтобы отпугивать моль, но от нее остался лишь слабый, едва уловимый аромат.

— Там, где живет хозяин, должно быть чисто, — сказала я спокойно, уже мысленно составляя список дел: вымести пыль, проветрить, сменить постельное белье, починить замки на сундуках, вынести старые вещи, если они найдутся. Голос мой был ровным, без раздражения, и я чувствовала, как внутри меня растет тихая, методичная решимость.

Библиотека была моей мечтой и моим разочарованием одновременно.

Дворецкий отворил тяжелую дверь в самом конце коридора, и я вошла, затаив дыхание. Высокий, почти до потолка, зал с узкими окнами-стрелками по обеим сторонам, сквозь которые пробивался бледный, рассеянный свет, падающий на пол длинными, косыми полосами. Вдоль стен — стеллажи, уходящие вверх, на целых три человеческих роста, с деревянными полками, темными и массивными. Но на полках... пусто. Только кое-где валялись отдельные книги в переплетах из кожи, разбухших от времени и влажности, их корешки были вздуты, страницы выпадали и лежали кучами на полу, превратившись в желтую, рассыпающуюся труху. Я подошла к ближайшему стеллажу и провела пальцем по пустой полке — на пальцах осталась толстая полоса серой, бархатистой пыли, в которой угадывались контуры когда-то стоявших здесь книг: прямоугольные отпечатки на поверхности, четкие, ровные, как могильные плиты. На полу — груды бумаг, рассыпавшихся в труху: когда-то это были свитки или листы, но теперь они превратились в серую, хрупкую массу, которая крошилась под ногами, издавая сухой, шелестящий звук. Пахло плесенью и гнилью — запах был кислым, сладковатым, с горькой нотой разлагающейся бумаги и кожей, которую разъела влага.

Я медленно прошла вдоль стеллажей, касаясь пальцами пустых полок, чувствуя под подушечками каждую неровность дерева, каждую царапину, оставленную книгами, которые здесь когда-то стояли. Я задержалась у одного из стеллажей, на полке которого еще сохранились остатки старой, истлевшей ткани, — когда-то здесь, наверное, висела бархатная занавеска, защищавшая книги от пыли. Теперь от нее остались лишь серые лохмотья, которые осыпались от моего дыхания.

Сердце сжалось. Это было физическое ощущение — где-то в груди, под ребрами, возникла тупая, ноющая пустота. Кто-то разграбил библиотеку. Я не знала, кто именно, но чувствовала эту потерю почти как личную: книги, которые могли бы стать моими друзьями в этих холодных стенах, которые могли бы рассказать мне историю этого места, его тайны, его магию, — их здесь больше не было. Остались только пустые полки, пыльные следы и запах утраченного знания. Я остановилась у самого дальнего стеллажа, где на нижней полке лежала единственная книга — маленький томик в темно-коричневом переплете, с выцветшим золотым тиснением на корешке. Я подняла его, и он оказался удивительно легким, почти невесомым — страницы внутри слиплись от влаги, превратившись в твердый, неподатливый блок, который не открывался. Я прижала его к груди, чувствуя, как от него веет холодом и сыростью, и на мгновение мне показалось, что я держу в руках единственное, что осталось от прежней жизни этого замка.

— Здесь тоже нужно убирать, — сказала я тихо, и голос мой дрогнул на последнем слове, чуть сел, выдавая ту боль, которую я пыталась скрыть. Я слотнула, провела рукой по корешку книги, ощущая под пальцами шершавую, потрескавшуюся кожу, и поставила ее обратно на полку — туда, где она лежала, на место, которое хранило ее след. Я не знала, смогу ли я восстановить эту библиотеку, но я решила, что сделаю все, чтобы вернуть сюда жизнь.

Дворецкий молча кивнул. В его глазах я увидела что-то похожее на понимание — тихое, сдержанное, без слов. Он стоял у двери, держа факел высоко, и свет от него падал на пустые стеллажи, на пыльный пол, на мою фигуру, сгорбившуюся у дальней полки.

Последней на втором этаже была комната, которую дворецкий назвал кабинетом главы дома. Он отворил дверь, и я шагнула внутрь, чувствуя, как здесь воздух был плотнее, чем в коридоре, — словно эта комната дышала реже, храня в себе тишину и сосредоточенность долгих лет. Небольшая, с одним окном, выходящим во внутренний двор: я подошла к нему

и выглянула наружу, увидев знакомые очертания колодца, покосившуюся крышу конюшни, серые плиты мостовой, которые я пересекала всего час назад. Стекло в окне было мутным, с разводами от дождей, и свет пробивался сквозь него мягкий, рассеянный, почти молочный.

Тяжелый письменный стол из черного дерева стоял напротив окна. Его столешница была огромной, гладкой, покрытой тончайшей сетью мелких царапин и потертостей, которые казались картой времени, нанесенной невидимой рукой. Древесина была темной, почти угольной, с редкими золотистыми прожилками, которые поблескивали в падающем свете. Рядом стояло кресло с высокой спинкой, обитое тисненой кожей — когда-то коричневой, а теперь выцветшей до серо-бежевого оттенка, с глубокими трещинами на поверхности, похожими на русла пересохших рек. Кожа потрескалась, но еще держалась, и я провела по ней пальцем, ощутив подушечкой плотную, сухую поверхность, которая местами отслаивалась мелкими чешуйками. Запах кабинета был особым: старым деревом, чернилами, которые когда-то проливались на эту столешницу, и легкой, едва уловимой горечью табачного дыма, вьевшегося в кожу кресла за многие годы.

На столе ничего не было, кроме слоя пыли — серой, мелкой, лежащей ровным, нетронутым покрывалом, — и высохшей чернильницы из темного стекла, на дне которой чернела твердая, спекшаяся масса, похожая на застывшую смолу. Рядом с чернильницей лежало гусиное перо, его стержень пожелтел от времени, а кончик был сломан и расслоен, как сухая трава.

Я села в кресло. Дерево подо мной скрипнуло — низко, протяжно, словно жалуясь на долгое безмолвие, — но выдержало, и я почувствовала, как твердые подлокотники уперлись в мои локти, как спинка приняла вес моего тела. Кожа под ладонями была прохладной и шершавой, и я ощутила, как каждая трещина на ее поверхности оставляет свой след на моей коже. Я положила ладони на столешницу — холодную, гладкую, как лед в погребке. Пыль осела на пальцы тонким серым налетом, и я провела рукой по поверхности, оставляя за собой широкую, чистую полосу, в которой проступил блеск полированного дерева. Закрыла глаза на миг, и в темноте за веками я представила, как здесь будет лежать бумага, как перо будет выводить слова, как чернила будут пахнуть свежестью и железом. Я чувствовала, как кресло принимает меня, как комната признает мое присутствие, как воздух вокруг меня становится чуть теплее, словно сама тишина оживает. Здесь я буду работать. Писать письма. Принимать решения. В груди разлилась тихая, уверенная тяжесть, и я позволила себе на мгновение поверить, что я уже не гостья, а хозяйка.

— Хорошо, — сказала я, открывая глаза. Голос мой прозвучал ровно и спокойно, и я услышала, как он улегся в этой комнате, как она приняла его и удержала, не отпуская. — Идем дальше.

На третий этаж вела уже не парадная лестница, а узкая винтовая, спрятанная в дальней башне. Дворецкий свернул в темный проход, и я последовала за ним, чувствуя, как стены смыкаются вокруг меня, становясь ближе и ближе. Винтовая лестница вилась вверх по спирали, и каждый шаг отзывался глухим эхом. Дворецкий шел первым, и его широкая спина почти загораживала свет от факела, оставляя меня в полумраке, где я видела лишь его силуэт и тусклый отблеск пламени, пляшущий на каменных стенах. Ступени были крутыми и скользкими — гладкий камень, стертый до блеска, казался влажным, хотя я не чувствовала сырости в воздухе. Я дважды оступилась: в первый раз нога соскользнула с края ступени, и я едва не упала, ухватившись за стену рукой; во второй раз я поставила ногу на выступ, который оказался слишком узким, и снова качнулась вперед, чувствуя, как сердце на мгновение замерло. Но я удержалась за стену — холодную, шершавую, с выступающими камнями, которые впились в ладонь через перчатку, — и продолжила подъем, стараясь ступать осторожнее, ближе к внутренней стене, где камень был менее скользким.

Третий этаж оказался совсем другим: здесь воздух был суше и светлее. Я вышла из тесного проема винтовой лестницы и почувствовала, как пространство расширяется, как потолок

уходит вверх, а стены расступаются. Дворецкий отворил низкую деревянную дверь — она была почти незаметна на фоне каменной кладки, с едва различимой ручкой, — и мы вышли в просторное помещение под самой крышей.

Оранжерея.

Я не сразу поняла, что это она, потому что сейчас здесь не было ничего, что напоминало бы о жизни. Только стеклянная крыша — огромная, арочная, с металлическим переплетом, покрытая толстым слоем грязи и паутины, которая делала стекло матовым и серым. Но кое-где, в тех местах, где грязь была тоньше, пробивался рассеянный дневной свет — бледный, холодный, он падал на каменный пол широкими полосами, и я видела, как в этом свете кружатся пылинки, маленькие, почти невесомые, танцующие в медленном, вековечном хороводе. Вдоль стен тянулись каменные желоба для земли — широкие, неглубокие, выложенные из того же серого гранита, что и весь замок. Они были пустыми: земля в них высохла, превратившись в серую, рассыпающуюся корку, и кое-где на ее поверхности проступили белые солевые разводы. Но из этой мертвой земли кое-где торчали сухие стебли — тонкие, ломкие, серые, они напоминали пальцы скелетов, тянущиеся к небу, которого они больше не видели. Когда-то здесь росли цветы или травы, и я представила их — яркие, зеленые, пахнущие свежестью, — но сейчас от них остались лишь эти сухие останки.

Я медленно пошла вдоль желобов, касаясь засохших остатков пальцами. Стебли ломались под моими прикосновениями с тихим, сухим хрустом, рассыпаясь в мелкую труху, которая оседала на моих пальцах серой пылью. Я чувствовала этот запах — сухой, теплый, с легкой нотой гнилой растительности, — и в нем уже угадывалась возможность чего-то нового. В воображении уже виделось, как здесь зазеленеет, как потеплеет, как воздух наполнится влагой и ароматом свежей земли. Я представляла себя с лейкой в руке, склонившуюся над молодыми ростками, и мне казалось, что я уже чувствую под пальцами влажную, рыхлую землю. Стеклянная крыша пропускала небо — серое, облачное, но живое, с движущимися облаками, которые медленно плыли над головой, меняя очертания и оттенки. В щели между стеклами и металлическим переплетом задувал легкий ветерок — прохладный, свежий, он касался моего лица и шевелил волосы, принося с собой далекий, едва слышный звук: где-то внизу, в долине, пели птицы. Их голоса были тонкими, нежными, и они проникали сквозь стекло, оживляя эту пустую, мертвую комнату.

— Оранжерею нужно приводить в порядок, — сказала я, не оборачиваясь. Голос мой прозвучал задумчиво, почти мечтательно, и я чувствовала, как в груди разливается тепло от этой мысли: у меня будет своя оранжерея, свои цветы, свой маленький зеленый мир. — Если успеем до холодов.

— Постарайтесь, хозяйка, — ответил дворецкий. Его голос был тихим, и я услышала в нем едва заметную ноту одобрения.

Когда мы спустились обратно в холл — по той же узкой, скользкой лестнице, и я снова держалась за стены, чувствуя каждую трещину в камне, — я остановилась у подножия и спросила про башни. Дворецкий помедлил, и я увидела, как его лицо стало чуть более сосредоточенным, как он опустил факел чуть ниже, чтобы свет не мешал его глазам.

— Их четыре, хозяйка. Северо-восточная, северо-западная, юго-восточная и юго-западная. В каждой есть комнаты на втором и третьем ярусах, — сказал он, перечисляя их медленно, словно называя имена старых знакомых.

— Покажите, — сказала я, чувствуя любопытство, которое росло внутри меня, как тихое, настойчивое желание.

Он покачал головой, и я увидела, как в его глазах мелькнула тень — не страха, а скорее осторожности, сдержанной, почтительной.

— Не могу. Они заперты.

Я удивленно подняла брови. В груди шевельнулось недоумение — не тревога, а скорее интерес, смешанный с легким разочарованием.

— Заперты? Ключи у вас?

— Нет, хозяйка. Ключей нет ни у кого из слуг. — Дворецкий говорил спокойно, но в голосе чувствовалась осторожность, и я заметила, как он чуть сжал пальцы на древке факела. — Двери в башни не открываются ни одним известным нам ключом. Замки старинные, магические. Говорят, их могут открыть только хозяева замка — и то не все, а те, кого признает магия самого замка.

Его слова упали в тишину холла, и я почувствовала, как они отозвались эхом где-то в глубине, повторившись шепотом. Я перевела взгляд на ближайшую башню — юго-западную, ее массивный силуэт угадывался в сумраке, и я направилась к ней, чувствуя, как шаги мои становятся медленнее, осторожнее.

Тяжелая дубовая дверь, окованная железом, с массивной ручкой в виде змеи, кусающей собственный хвост. Металл был темным, почти черным, покрытым толстым слоем окиси, и змеиная чешуя проступала на поверхности выпуклыми, четкими линиями. Голова змеи, сжимающая собственный хвост, была исполнена с такой тонкой детализацией, что я видела каждый зуб, каждую чешуйку, каждый изгиб ее гибкого тела. Замка я не увидела — только гладкую металлическую пластину, вделанную в дерево на уровне моей груди, на которой были выгравированы какие-то знаки: они извивались, переплетались, напоминая и письма, и узоры одновременно. Я поднесла руку к пластине, чувствуя, как от металла исходит холод — плотный, тяжелый, он касался моей ладони еще до того, как я прикоснулась к нему. Я коснулась пластины ладонью, прижав пальцы к холодной поверхности.

Ничего не произошло.

Металл остался холодным и гладким под моими пальцами, ни на градус не потеплев, ни на мгновение не дрогнув. Знаки на пластине оставались темными, неподвижными, безжизненными. Дверь не дрогнула, не загудела, не подала ни единого звука, только тишина стояла вокруг, плотная и глухая. Я почувствовала, как разочарование — легкое, острое — кольнуло где-то под ребрами. Я попробовала еще раз, сильнее нажав на металл, вложив в это прикосновение все свое ожидание, всю свою надежду, всю ту теплоту, что замок подарил мне у ворот. Ничего. Пластина оставалась немой и безразличной, как холодный камень на дне реки.

Я убрала руку, и на пальцах остался слабый металлический запах — железо и окись, горький и резкий. Я посмотрела на дверь, на змею, кусающую свой хвост, и почувствовала, как внутри меня шевельнулась тихая, спокойная решимость. Я не поняла, почему замок принял меня у ворот, но отверг здесь, у башен.

— Может, нужно что-то особенное? — спросила я у дворецкого, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи, без разочарования, которое копилось где-то под ребрами от немого холода металлической пластины.

Я смотрела на змеиный узор на двери, на эту застывшую, вековечную петлю, и внутри меня шевелилось тихое, спокойное любопытство, смешанное с легкой горечью непризнания. Пальцы, коснувшиеся пластины, все еще хранили слабый металлический привкус — горьковатый, холодный, как дыхание глубокого колодца.

— Не знаю, хозяйка. — Дворецкий отвел взгляд в сторону, и я заметила, как его лицо в свете факела стало чуть более замкнутым, сосредоточенным. — Я здесь служу недавно, старые слуги ушли. Но поговаривают, что башни открываются только тем, кто по-настоящему нуждается в том, что там хранится. Или когда приходит время.

Его слова упали в тишину, и я почувствовала, как они осели на моей коже легкой, почти невесомой прохладой. В них не было угрозы, не было тайны, которую он намеренно скрывал, — только уважительное признание того, что он сам не знает ответа. Я убрала руку от двери, и металл под моими пальцами проводил меня холодом, который постепенно уходил, смешиваясь

с воздухом холла. Легкий озноб пробежал по спине — от сырости, которая все еще висела в воздухе, или от таинственности этих слов, я не могла понять. Но это чувство было не страхом, а скорее ожиданием: когда-нибудь я узнаю, что скрыто за этими дверями. Когда-нибудь настанет время.

— Хорошо, — сказала я, и голос мой прозвучал тверже, чем я ожидала. Я повернулась спиной к башне и перевела взгляд на простор холла, на пустые стены, на темный пролет лестницы. — Оставим башни на потом. У нас и без них дел хватит.

Я обвела взглядом холл — высокий, сумрачный, с каменными плитами, которые хранили следы бесчисленных шагов, и снова вспомнила пустую библиотеку, где книги превратились в труху, облупленные стены с известкой, осыпающейся хлопьями, запертые двери, за которыми молчаливо ждала тьма. Чувство усталости навалилось с новой силой — тяжелой, вязкой, она оседала на плечах, на веках, на каждой мышце, которая ныла от долгого пути и непрерывного напряжения. Но где-то глубоко в груди, под этой усталостью, теплилась уверенность: маленький, упрямый огонек, который не давал мне согнуться и опустить плечи. Я справлюсь.

Я медленно обошла первый этаж, заглядывая в каждую дверь, которую мы еще не открывали. Маленькая кладовая со старыми бочонками, от которых пахло уксусом и сухими травами; узкий коридор, ведущий к черному ходу, с деревянной лестницей, прогнувшейся в нескольких местах; комнатка для стражи, пустая, с железными крючьями на стенах, где когда-то висели доспехи. Я трогала стены — холодный камень, шершавый, с выступающими зернами гранита, — и запоминала, где что лежит и чего не хватает. В каждой комнате был свой голос: где-то скрипела половица, где-то капала вода, где-то ветер посвистывал в щелях. Я впитывала эти звуки, эти запахи, эти ощущения, чтобы они стали моими.

Кухарка уже гремела на кухне посудой — звон металла и глины доносился из глубины крыла вместе с запахом жареного лука, который тянулся по коридору и смешивался с сыростью. Конюх возился где-то снаружи: через открытую дверь я слышала его шаги по каменному двору, глухие, размеренные, и звон цепи — он проверял, не нуждается ли в починке конюшня. Все было старым, обветшалым, запущенным. Но это было мое. Каждая трещина, каждая поломанная ступень, каждая дверь, которая скрипела на петлях, — все это принадлежало мне по праву, и я принимала это целиком, со всей его ветхостью и пылью.

К вечеру ныли ноги — икры гудели от усталости, и я чувствовала, как ступни горят в сапогах, которые были слишком жесткими после долгой дороги. Кружилась голова от смены света и тьмы: факелы то вспыхивали ярко, то гасли в тени, и глаза устали перестраиваться снова и снова. Платье пропахло сыростью и дымом, ткань стала тяжелой и липкой, она прилипла к бедрам и плечам, и я мечтала снять его, сбросить эту влажную тяжесть. Я стояла посреди холла, и последний луч дневного света угасал за узкими окнами, оставляя нас наедине с мерцающим пламенем факелов. Я смотрела на лестницу, ведущую вверх, в мою спальню, и в этом взгляде не было сомнения — только усталое, спокойное ожидание.

— Завтра начнем, — сказала я громко, чтобы слышали все. Голос мой разнесся по холлу, отразился от стен и затих где-то под потолком. — Сегодня я хочу просто отдохнуть.

Дворецкий кивнул — коротко, сдержанно, и тут же повернулся к горничным, распоряжаясь тихим, но отчетливым голосом, чтобы подготовили хозяйскую спальню. Я слышала, как они зашуршали юбками, направляясь к лестнице, как одна из них понесла свечи, чтобы зажечь их в моей комнате, — и от этого простого звука мне стало чуть теплее на душе.

Я пошла вверх медленно, держась за перила, чувствуя, как ступени уходят из-под ног одна за другой. Рука скользила по кованому пруту, гладкому и холодному, и каждый шаг отдавался в коленях тупой болью. На полпути я остановилась, чтобы перевести дыхание: воздух был тяжелым, и легкие требовали передышки. Я оперлась спиной о стену — камень был прохладным, и я ощутила, как он принимает вес моего тела, как его шершавая поверхность успо-

каивает ладонь. Где-то внизу, в холле, я услышала, как дворецкий гасит факелы, один за другим, оставляя лишь одну свечу для света, и тишина становилась глубже, мягче.

Впереди были долгие недели работы. Я знала это — всем телом, каждой уставшей мышцей, каждой мыслью, которая пробегала в голове, перечисляя дела: проветрить комнаты, сменить постели, вычистить камин, привести в порядок оранжерею. Но впервые за долгое время я знала, ради чего просыпаться утром. Я стояла на лестнице, в полумраке, и чувствовала, как усталость уступает место чему-то более глубокому: тихому, спокойному счастью, которое не требовало слов. Я снова подняла ногу на следующую ступень и продолжила подъем, ощущая, как каждая следующая ступень приближает меня к моей комнате, к моей кровати, к отдыху, который я заслужила. И когда я вошла в спальню, где горничные уже зажгли свечи, и увидела, как их свет танцует на резной спинке кровати, я позволила себе выдохнуть — долго, глубоко, отпуская весь день. Это был дом. Мой дом. И я была дома.

Глава 3

Я стояла посреди холла, и прохлада вечера окутывала плечи, когда воспоминания нахлынули внезапно, как волна, поднявшаяся из глубины памяти. Меня звали Кратова Мария Викторовна. Совсем недавно мне исполнилось двадцать лет — я помнила, как задувала свечи на торте, и воск капал на белую скатерть, а в комнате пахло ванилью и воском. Вроде невеликий возраст по меркам Земли, моего родного мира, где двадцать лет — лишь начало пути, еще не зрелость, а только первая ступень во взрослую жизнь. Но всю свою жизнь, с самого раннего детства, когда я еще не умела читать, но уже чувствовала, что отличаюсь от других, я знала: я дочь мага и аристократки из мира магического. Эскарон, как назвал его отец, Виктор Кратов, или Витор Всемогущий, как звали его здесь, в этом мире, где магия была не сказкой, а реальностью, текущей в крови и камнях.

Родители не скрывали от меня правды. Я помню их лица, когда они впервые рассказали мне об этом — мы сидели на кухне нашей скромной земной квартиры, пили чай с мятой, и мама держала мою руку в своей, теплой и сухой. Они ушли из этого мира, потому что хотели уберечь меня от махрового патриархата, процветавшего на Эскароне, где женщины были не более чем украшениями и пешками в руках отцов и мужей. Отец говорил об этом с горечью, но и с гордостью: он выбрал для меня свободу ценой своей магии, которая на Земле была слабее, почти неощутима, но все же жила в нем, как тлеющий уголек.

— Ты — свободная девушка, Мэри, — любила повторять мама, Анна горт Лостерская, из рода герцогов Лостерских, и в ее голосе слышалась стальная нотка, унаследованная от древнего аристократического рода. — Помни об этом. Никогда не позволяй никому решать за тебя.

Я помню, как она улыбалась, говоря это, и как ее глаза, серо-голубые, как небо над морем, смотрели на меня с такой любовью, что у меня перехватывало дыхание. Она была прекрасна — даже в простом платье, без украшений, с седыми прядями, пробивающимися в темных волосах. И отец смотрел на нее так, будто она была единственной женщиной на всей Земле.

Год назад, когда мне исполнилось девятнадцать, родители пропали без вести. Я помню тот день — утро было солнечным, и они ушли на прогулку, как делали всегда, по воскресеньям, в парк через дорогу. Они не вернулись. Я искала их, звонила в полицию, объезжала больницы, но никто ничего не знал. Через месяц пришло завещание на мое имя, составленное отцом загодя, с четкими инструкциями, которые он оставил мне, словно предвидя, что не сможет проводить меня в жизнь сам. По ним я не могла распоряжаться оставленным имуществом до двадцати лет. Все это время мне следовало учиться, желательно — в другой стране, благо денег хватало. И только когда мне исполнится двадцать, я могла стать наследницей всего, что успел заработать отец. Ну и выйти замуж могла только после наступления двадцатилетия — эта последняя оговорка всегда казалась мне странной, почти шуточной, но теперь я понимала, что он просто хотел, чтобы я успела узнать себя, прежде чем связать свою жизнь с кем-то другим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.